

A woman with blonde hair styled in an updo, wearing a dark green dress with gold embroidery and a white ruffled collar. She is adorned with a necklace, earrings, and a hairpiece. The background is a lush garden with pink flowers and green foliage. A vertical beam of light is visible on the left side.

НАДЕЖДА
СОКОЛОВА

МАРКИЗА
ИЗ УСАДЬБЫ
КАРАНТАР

Надежда Игоревна Соколова

Маркиза из усадьбы Карантар

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=73430523

SelfPub; 2026

Аннотация

Мне тридцать пять, и я попаданка. Попала из привычного земного мира в магический. Теперь мне нужно управлять поместьем, общаться с многочисленными родственниками и думать о благосостоянии моих крестьян. И никакая свадьба в мои планы не входила. До последнего времени...

Том 1.

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	10
Глава 3	22
Глава 4	41
Глава 5	52
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Надежда Соколова

Маркиза из усадьбы Карантар

Глава 1

Я стояла перед высоким зеркалом в оправе из темного дерева, медленно осматривая свое отражение. Платье было тяжелым и пышным, из плотного бархата цвета спелой сливы. Ткань казалась почти живой под пальцами – ворс ложился то темнее, то светлее в зависимости от того, как падал свет от свечей. Рукава, узкие от плеча до локтя, резко расширялись книзу, обнажая тонкую льняную рубашку, единственную уступку теплу в этом парадном облачении. Я провела ладонями по гладкой ткани на бедрах, расправляя несуществующие складки, и на мгновение задержала руку на поясе, где серебряная пряжка с тусклым блеском удерживала широкую полосу тисненой кожи. Прическа, туго заплетенная и уложенная вокруг головы тяжелым венцом из кос, казалась чужой, слишком сложной для обычного дня. От нее слегка тянуло затылок – непривычное ощущение после простой косы, которую я обычно носила.

Мне предстояло спуститься в большой зал. Скоро придут

они – кузены, тетушки, дальние родственники с детьми. Человек двадцать, а то и все тридцать. Я мысленно перебирала их лица: тетушка Мирабель с вечно поджатыми губами, кузен Эдмунд, который в прошлом году так долго рассматривал резьбу на моем книжном шкафу, что я поняла – он оценивает его стоимость. Раз в году, в день летнего солнцестояния, двери моей усадьбы по традиции раскрывались для них. Они приедут в своих поношенных камзолах и перешитых платьях, с жадными и усталыми глазами, с детьми, которых будут одергивать, чтобы те чего не сломали и не стащили лишнего со стола. Будут есть мою дичь – молодых куропаток, которых егерь принес еще затемно, пить мое вино, привезенное купцами из южных провинций прошлой осенью, осматривать каждый новый гобелен или серебряный кубок с немым укором, будто все это по праву должно было принадлежать им.

Я не хотела этого приема. Шум, суета, чужие запахи – резкие духи тетушек, застоялый запах дорожных плащей, детский смех, слишком громкий для этих стен, – заполнявшие привычные покои. Мои покои. Но отказаться – значило нарушить древний обычай, бросить вызов самой ткани нашего мира, где такие ритуалы скрепляли даже самые шаткие связи.

Я сделала глубокий вдох. Воздух в комнате был напоен ароматом сушеной полыни и лаванды, пучки которых свисали с балок под потолком. Я сама собирала их в прошлом ме-

сяце, перевязывала бечевой и развешивала – запах трав всегда успокаивал меня лучше любых снадобий. За моей спиной в камине тихо потрескивали поленья, хотя летний вечер был теплым, и окно было приоткрыто – оттуда тянуло скошенной травой и нагретой за день хвоей. Огонь – для уюта, для себя. Пусть внизу жгут факелы и свечи, чтобы поразить гостей. Здесь, наверху, горел только мой камин, и никто не имел права заходить сюда без моего зова.

Мне тридцать пять. По меркам империи, в которой я живу, я уже почти старуха, незамужняя женщина без детей. Я видела, как иногда слуги на ярмарке провожали взглядами молодых матерей с младенцами на руках, и понимала, что обо мне судачат иначе – с недоумением, смешанным с опасливым уважением. Но, глядя в свои спокойные глаза в зеркале, я не чувствовала ни старости, ни ущербности. Моя усадьба была крепкой – я знала каждый камень в ее стенах, каждую щеколду, каждую половицу, что скрипит под ногой. Земли – плодородными: амбары ломились от зерна, погреб – от корнеплодов и солений. Магические печати на хранилищах – надежными: я сама проверяла их каждое новолуние, проводила ладонью по теплым от скрытой силы рунам и чувствовала, как они отзываются на мое прикосновение. У меня были книги – старые, в кожаных переплетах, с пожелтевшими страницами, пахнувшими пылью и временем, – сад с целебными травами, верные слуги, которые служили еще моей матери, и тишина. Та самая драгоценная тишина, ко-

торую вот-вот нарушат.

Я была высокой и худощавой. Моя хudoба не была хрупкой; в ней чувствовалась жилистая, привычная к движению сила, которая досталась мне от отца – он говорил, что в детстве я могла гонять по двору мальчишек, пока те не падали без сил. Длинные руки, тонкие пальцы – руки, которые могли одинаково уверенно держать перо для ведения счетов, перелистывать страницы древних фолиантов или сжимать древко садовых ножниц, обрезая сухие ветки роз.

Волосы, бледные, как лен, выгоревший на солнце, были сегодня скрыты под сложной укладкой. Но обычно они были моей единственной неумной чертой – густые, тяжелые, они не хотели лежать гладко и часто выбивались из косы серебристыми прядями, особенно к вечеру, когда я уставала и забывала их поправлять. Сейчас же каждая прядь была прибрана и закреплена шпильками с маленькими жемчужинами – парадный вариант, к которому я прибегала лишь несколько раз в год.

Лицо, с резковатыми, не мягкими скулами и прямым носом, казалось мне в этой пышности платья особенно аскетичным. Но я не стремилась его смягчить. А глаза... Глаза были светлыми, синими, цвета зимнего неба перед снегопадом – так говорила моя мама, когда я была маленькой. Сейчас в них не было ни волнения, ни досады. Лишь привычная, чуть отстраненная ясность. Взгляд женщины, привыкшей обозревать свои владения – и библиотеку, и сад, и ду-

шевное состояние – с одной и той же спокойной внимательностью.

Бархат платья лишь подчеркивал бледность кожи, которой редко касалось открытое солнце, и ту самую худощавость, которую пышные рукава и широкий силуэт скрадывали, но не могли полностью скрыть. Я держалась прямо, без сутулости, и это добавляло росту, позволяя смотреть на многих гостей чуть сверху вниз, что было не физической, а скорее внутренней необходимостью для предстоящего вечера. В этом наряде я была похожа на строгую, немного холодную икону в богатом окладе – именно то впечатление, которое и требовалось создать. Пусть помнят, кто здесь хозяйка.

Я поправила тяжелое ожерелье на шее – массивный кулон с дымчатым кристаллом, холодный на ощупь. Камень этот нашли в моих землях лет десять назад, и мастер оправил его так, чтобы он лежал точно под ключицами, закрывая ложбинку между ними. Талисман, говорили одни. Просто красивая вещь, говорили другие. Я знала, что это память – об открытии, о силе моей земли, о том, что я сумела сохранить и приумножить.

Все было в порядке. Платье – безупречно, хозяйка – готова. Я окинула взглядом комнату: широкую кровать, застеленную льняным покрывалом, стопку книг на прикроватном столике, раскрытое окно, за которым уже сгущались сумерки. Это всего лишь несколько часов. Несколько часов вежливых улыбок, разговоров об урожае и здоровье, вручения

мелких, но обязательных подарков. А потом они уедут. Кареты загремят по гравии, стихнут голоса, слуги примутся убирать со столов, и снова наступит тишина, мой привычный, устроенный мир, где все было так, как я хотела.

Я повернулась от зеркала и пошла к двери, чувствуя, как тяжелая ткань платья шелестит по каменному полу, и этот звук – единственный, кто сейчас был со мной заодно, кто не требовал от меня улыбок и разговоров.

Глава 2

Я спускалась по широкой лестнице из темного дуба, держась за резную балюстраду. Дерево под пальцами было гладким, отполированным за десятилетия прикосновениями – сначала рук матери, потом моих. Настрой у меня был четкий, деловой – как перед открытием кофейни в час пик, когда за дверью уже собралась очередь из замерзших офисных работников, а бариста еще не успел заправить кофемашину. Не праздничный, а рабочий. Глубокий вдох, прямая спина, собранность. Сейчас мне предстоит не принимать родню, а провести масштабное мероприятие со сложной целевой аудиторией. Главное – система, контроль и четкий регламент. Кто заходит, кто что говорит, кому какой подарок вручить, чтобы не обидеть и не перекормить надеждами.

Мой взгляд скользнул по главному холлу, который встречал гостей. Он был огромным, с каменными стенами, сложенными из серого грубого камня, но теперь они почти не видны под свидетельствами богатства. Стены завешаны тяжелыми шпалерами со сценами охоты – гобелены изображали знатных дам с соколами на запястьях, оленей, затравленных собаками, лесные чащи, вытканые зеленой и коричневой шерстью так густо, что казалось, вот-вот послышится лай. На полу – пестрые, немного кричащие ковры, привезенные, по слухам, с востока, с узорами, от которых рябило в

глазах, если смотреть слишком долго. Массивные серебряные канделябры в рост человека отражали мерцание сотен свечей в позолоченных зеркалах, отчего свет был даже слишком ярким, слепящим, и все предметы – вазы, подзеркальники, тяжелые дубовые скамьи – обретали резкие, черные тени. Все это – не мой выбор. Это наследие прежней владелицы тела, ее понятие о престиже. Мне это напоминало пафосные рестораны на первых этажах новых бизнес-центров, куда я иногда ходила по делу: позолота, хрусталь, официанты в слишком крахмальных рубашках, а еда – безвкусная и порционно-мизерная. Роскошь с претензией, для демонстрации, а не для души. Мои личные покои наверху были куда аскетичнее и удобнее: побеленные стены, простые льняные занавески, никакой позолоты, только книги, травы и тишина.

Сквозь приоткрытые массивные дубовые двери доносился гул голосов, ржание лошадей и скрип колес. Я видела, как в проеме мелькали фигуры: мужчины в потертых камзолах, которые когда-то были модными, женщины в платьях с чужого плеча – я узнавала перелицовку по тому, как не там сидел рукав или как топорщился воротник. Подъезжали не только кареты, пусть и потрепанные, с облупившейся краской на дверцах и тусклыми гербами, но и простые телеги, запряженные усталыми клячами, с соломой в кузове, где сидели дети вперемешку с узлами. Дверь не закрывалась – слуги, принимавшие плащи и раздевавшие детей, не успевали за потоком. Плащи летели на скамьи, дети ревели, матери ши-

кали на них, отцы топтались у порога, озираясь по сторонам с тем самым жадным любопытством, которое я ненавидела больше всего. Дверь постоянно хлопала – глухой, тяжелый удар старого дерева о каменный косяк. Тук. Тук. Тук. Этот звук бил по нервам, как капель по подоконнику, когда пытаешься уснуть, или как сигнал не отвеченного сообщения, который напоминает о себе каждые пять минут. На Земле я бы уже сделала замечание, установила доводчик или поставила дежурного, который следил бы за этим. Здесь же это было проявление суеты и неорганизованности, которая меня раздражала чисто по-профессиональному. Я представила, как составила бы график прибытия, назначила ответственного за двери, развесила бы таблички для гостей... Но здесь это было невозможно. Здесь правили традиции, а не эффективность.

Я сделала паузу на последней ступени, дав себе последнюю секунду перед выходом на «сцену». Тридцать пять лет. Там, на Земле, я была владелицей нескольких успешных кофеен, где ценили тишину, приглушенный свет, хороший аромат и безупречный сервис. Где я знала каждого постоянно-го клиента в лицо, помнила, кто любит капучино с миндальным сиропом, а кто приходит только за американо и свежей выпечкой. Здесь я – хозяйка усадьбы, вынужденная устраивать шумный, нелюбимый пир для толпы, чьи взгляды полны зависти и расчета. Но и там, и здесь я управляла бизнесом. Разница лишь в масштабах и декорациях. Вместо ко-

фейных зерен – зерно в амбарах. Вместо поставщиков молока – арендаторы, платящие оброк. Вместо недовольных клиентов – недовольные родственники. Значит, нужно просто хорошо выполнить работу. Провести прием, соблюсти все формальности, минимизировать ущерб для своего спокойствия и проводить гостей до следующего солнцестояния.

Я поправила складки бархатного платья, которое все еще казалось мне театральным костюмом, словно я надела его для корпоратива в стиле исторической реконструкции, и плавным, неторопливым шагом двинулась навстречу шуму, гомону и хлопающей двери. Каблуки мягко ступали по ковру, почти беззвучно, но я знала, что мое появление не останется незамеченным. Лицо мое было спокойным, почти дружелюбным, но внутри все было сосредоточено, как перед важными переговорами о поставке дорогого кофе, когда на кону – прибыль за квартал.

Я вошла в холл, и фальшивая, широкая улыбка сама растянула мои губы. Отработанный до автоматизма жест, который я использовала в кофейне, когда заходил особенно требовательный гость и жаловался на температуру напитка. Только здесь вместо запаха свежемолотых зерен – запах пота, дешевых духов, мокрой шерсти от плащей и конского навоза, принесенного с улицы на сапогах.

– Дорогие мои! – произнесла я голосом, в котором было ровно столько тепла, сколько требовалось по этикету, и ни капли больше. – Как я рада вас видеть. Проходите, проходите

в зал, стол уже накрыт.

Гости появлялись в холле широким речным потоком, и я стояла почти что у основания лестницы, принимая этот поток на себя, как каменная плотина принимает весеннюю воду.

Дядюшка Бертран, самый старший в роду, с влажным рукопожатием и одышкой. Его пальцы были холодными и липкими, словно он только что держался за что-то сырое, и я подавила желание вытереть ладонь о юбку. От него пахло лекарственной настойкой и нафталином – камзол, явно сшитый двадцать лет назад, хранил этот запах, как сундук хранит старые вещи. Он щурился на свечи, будто свет резал ему глаза, и тяжело опирался на трость с медным набалдашником, стертым от долгого использования.

– Дражайшая племянница, как сияет твой дом! Право, как сияет! – его голос срывался на хрип, и он кашлянул в кулак, прикрывая рот.

– Рада видеть вас в добром здравии, дядюшка. Проходите, пожалуйста, вас ждет место у камина. – Я слегка коснулась его локтя, направляя в нужную сторону.

Оно самое дальнее от общего стола и сквозняков, там мягкое кресло с высокой спинкой, куда я сажаю только самых старых и самых немощных, но вы этого не оцените. Вы примете это как знак уважения, которым я и пользуюсь.

Тетя Марго, вечно с двумя незамужними дочерьми. Она всплыла в холл, как корабль под полными парусами – высо-

кая, грузная, в платье из зеленого шелка, которое явно видело лучшие времена: у ворота ткань чуть поистерлась, а на рукавах были аккуратно заштопаны маленькие дырочки, замаскированные вышивкой. За ней жались Анна и Клара, обе в одинаковых серых платьях, с одинаковыми прическами, с одинаковыми испуганными глазами, которые бегали по холлу, цепляясь за каждую деталь – за серебряные канделябры, за гобелены, за резные ножки стульев. Анна, старшая, теребила край рукава, накручивая ткань на палец. Клара кусала губы и смотрела в пол, словно боялась поднять глаза.

– Ах, вот она наша счастливица! – голос тети Марго был громким, рассчитанным на то, чтобы его слышали все вокруг. – Посмотрите, Анна, Клара, какую ткань может позволить себе самостоятельная женщина. – Она протянула руку и провела пальцами по моему рукаву, оценивающе, изучающе, будто прикидывая, сколько метров бархата ушло на платье и сколько это могло стоить.

– Тетушка, вы слишком любезны. Девушки, вы просто цветете. – Я перевела взгляд на Анну и Клару, и они синхронно опустили глаза, как две куклы, которых дернули за ниточку. – Прошу чувствовать себя как дома.

И не пытайтесь рыскать по усадьбе в поисках холостых управителей. Я знала, что они будут искать – искали каждый год, обшаривали каждый угол, заглядывали в конюшни и на кухню, строили глазки садовнику и конюху. Но садовнику пятьдесят, и он женат, а конюх глух на одно ухо и интересу-

ется только лошадьми. Впрочем, им это не мешало.

Кузен Гарольд, с потухшим взглядом и потрепанным камзол. Камзол был когда-то синим, благородного оттенка, но теперь выцвел до серо-голубого, а на локтях кожаные заплатки, аккуратно пришитые, но все равно заметные. Кузен стоял, переминаясь с ноги на ногу, и мял в руках шапку – простую, суконную, без всяких украшений. Под глазами у него залегли темные круги, а щеки впали так, что скулы торчали острыми углами. От него пахло лошадьми и потом дальней дороги – он приехал верхом, не имея даже собственной повозки.

– Кузина. – Он кивнул, не глядя мне в глаза, уставившись куда-то в район моего плеча. – Усадьба в порядке? Скот?

– Все в полном порядке, кузен. Овцы дали отличный приплод. – Я чуть склонила голову, давая ему понять, что разговор закончен. – Поговорим после еды.

Нет, Гарольд, я не дам тебе денег на новую команду. Опять прогоришь, как в прошлый раз, когда вложилась в торговлю шерстью и прогадал на ценах. Я помню, как ты приходил ко мне, как стоял вот так же, мямлил и просил. Я дала. И что? Ничего.

Младшая сестра Лия, уже с тремя детьми, четвертый на подходе. Она вошла шумно, с хохотом, с растрепанными волосами, выбившимися из-под чепца, с покрасневшимся лицом. Живот уже округлился так, что платье, перешитое в который раз, натягивалось на нем туго, и одна пуговица на гру-

ди держалась на честном слове – я заметила, что она прихвачена белой ниткой, наспех, кое-как. Дети цеплялись за ее юбку.

– Милая! – Лия чмокнула меня в щеку влажными от жары губами. – Здорово тут у тебя все! Малыш, не тяни скатерть! – Она шлепнула по руке мальчишку, который уже ухватился за край тяжелой скатерти на ближайшем столике, и тот заревел.

– Лия, дорогая. – Я отстранилась, пряча улыбку, которая должна была сойти за сестринскую. – Какие славные ребята. Для них в саду подготовлены игры.

И няньки, которые не дадут им разнести мою библиотеку. Я специально распорядилась еще утром: два крепких парня из прислуги будут следить за детьми, водить их хороводом, кормить сладостями в беседке – подальше от книг, подальше от гобеленов, подальше от всего, что можно сломать, порвать или испачкать липкими пальцами.

Двоюродный брат Эдвин, с масляной улыбкой. Он появился в дверях, театрально замер на пороге, давая всем возможность его разглядеть, и только потом шагнул внутрь. Камзол на нем был новый, с иголки, из хорошего сукна, но я знала, что денег у него нет – значит, опять шили в долг, опять у портного, который ждет оплаты полгода. Волосы напыжены так, что блестят при свечах, усы закручены в тонкие стрелки, и от него за версту разит парфюмом – дешевым, приторным, которым поливают себя те, кто хочет казаться богаче, чем есть.

– Кузина! – Он раскинул руки, будто собирался меня обнять, но я сделала полшага назад, и он ограничился тем, что схватил мою ладонь и поднес к губам. Губы были влажными, и я снова подавила желание вытереть руку. – Ты – зрелище, услаждающее взор! Благородный сокол в золотой клетке своего богатства!

– Эдвин, твои речи – как всегда, музыка. – Я высвободила руку. – Вино ждет тебя.

Пей и помалкивай. Твои комплименты пахнут долговыми расписками. Я помню, как в прошлом году ты нахваливал мои гобелены, а через неделю прислал письмо с просьбой одолжить денег «до осени». Осень прошла, денег я не увидела.

Тетушка Агата, остра на язык. Она проплыла мимо, даже не остановившись, только окинула меня взглядом с головы до ног и обратно, цепко, как торговка на рынке оценивает товар. Платье на ней было яркое, малиновое, с золотым шитьем – слишком молодое для нее, слишком крикливое, но она носила его с видом королевы, изгнанной из дворца, но не потерявшей достоинства.

– Платье новое? – спросила она, не поворачивая головы, глядя куда-то в сторону лестницы. – Цвет, конечно, мрачноват для твоих лет. Слива – это для вдов, для старух. А ты еще могла бы носить что-то повеселее. Но на твой вкус... – Она повела плечом, оставляя фразу незаконченной, но смысл был ясен: вкуса у тебя нет, всегда не было, и не будет.

– Стараюсь держать марку, тетя. – Я улыбнулась так же ровно, как улыбалась клиентам, которые жаловались, что кофе слишком горячий. – Вам, кажется, нравится более яркое? В следующем году сошью себе алое.

Ни за что. Алое пойдет тебе, тетя Агата, оно подчеркнет твою бледность и сделает ее землистой. Я сошью себе темно-зеленое, цвет мха, и буду права.

И так далее, и тому подобное. Троюродный брат с женой, у которой был нервный тик – она дергала щекой, когда волновалась, а волновалась она всегда. Двоюродная сестра с мужем-пьяницей, который уже сейчас озирался в поисках выпивки, хотя до стола еще нужно было дойти. Какие-то дальние родственники, чьи имена я путала каждый год и каждый год надеялась, что они не подойдут ко мне с разговорами. Дети, дети, дети – чумазые, шумные, визжащие, с разбитыми коленками и вечно мокрыми носами.

Я кивала, улыбалась, касалась протянутых рук, повторяла имена – благо память на клиентов была тренирована годами работы в кофейне, где нужно было помнить, кто любит латте с сиропом, а кто приходит только за черным эспрессо и не выносит, когда с ним заговаривают. «Как мило, что вы приехали». «Проходите, не стесняйтесь». «Да, погода стояла прекрасная для пути». Пустые, ритуальные фразы, социальный шум, заглушавший назойливое хлопанье двери, которое все еще продолжалось – тук, тук, тук, – и каждый удар отдавался где-то в висках.

Я ловила в глазах одних расчет – они прикидывали, сколько стоят канделябры и не завалюсь ли у меня лишнего зерна, которое можно выпросить. Других – усталую покорность людей, которые приехали только потому, что так надо, потому что традиция велит, и которые мечтали только об одном: чтобы этот вечер поскорее закончился. Третьих – жадное любопытство, с которым они разглядывали каждый угол, каждую новую вещь, каждый гобелен, появившийся с прошлого года.

И за каждой улыбкой, за каждым кивком, за каждым прикосновением я мысленно ставила галочку: дядюшка Бертран – принят, тетя Марго с дочерьми – приняты, кузен Гарольд – принят. Один приняла, двадцать девять впереди. Работа пошла.

Я сделала незаметный шаг назад, ближе к лестнице, чтобы хоть на минуту выдохнуть, пока следующий гость не подошел с очередной порцией фальшивых любезностей. В холле становилось тесно – люди толпились у входа, слуги метались с плащами и узлами, кто-то уже пробирался к столу, не дожидаясь приглашения. Пахло потом, духами, мокрой шерстью и едой, доносившейся из зала – жареным мясом, свежим хлебом, пряностями.

Я поправила кулон на шее – дымчатый кристалл лег холодом на разгоряченную кожу – и снова улыбнулась, потому что ко мне уже спешила очередная родственница с вопросом о том, не продам ли я прошлогодний урожай яблок подешев-

ле.

Глава 3

На Земле меня звали Ариной Ветровых. Здесь же я носила имя Ариадны горт Карантар. Моя усадьба также называлась Карантар – так было заведено в этих землях: род и дом носили одно имя, сливаясь в единое понятие, которое нельзя было разделить. И здесь и сейчас я должна была притворяться радушной хозяйкой, хотя внутри у меня работал секундомер, отмеряющий время до того момента, когда последний гость уберется восвояси.

Наконец, формальности в холле были завершены. Я повела процессию в пиршественный зал, лавируя между толпящимися родственниками, которые все еще топтались у входа, не зная, куда деть себя и свои узлы. За моей спиной шуршали юбки, покашливали старики, перешептывались женщины, дети то и дело норовили шмыгнуть куда-то в сторону, но матери хватали их за вороты и встряхивали, как котят. Мы миновали арку, и зал распахнулся перед нами – огромный, сводчатый, с высокими узкими окнами, в которые уже заглядывали сумерки.

Длинный дубовый стол, способный вместить пятьдесят человек, ломился под тяжестью угощений. Стол был старым, темным, отполированным локтями многих поколений до маслянистого блеска, и сейчас его почти не было видно под блюдами, мисками, подносами и кувшинами. Свечи в тя-

желых канделябрах горели ровным пламенем, но в зале все равно царил полумрак – углы тонули в тени, а потолок терялся где-то вверху, куда свет просто не добирался. По стенам висели те же гобелены, что и в холле, только здесь они изображали не охоту, а сцены из древних легенд – битвы, пиры, коронации, – и от них веяло холодом каменных залов, где никогда не бывает по-настоящему тепло, даже летом.

Мое место во главе стола было настоящим тронном – высоким резным креслом с бархатной подушкой цвета платья, сливового, густого, почти черного в этом освещении. Спинка кресла уходила вверх, заканчиваясь резными завитками, а подлокотники были стерты до блеска – не мной, моими предшественниками, теми, кто сидел здесь до меня. Передо мной сияла золотая посуда, и это сияние резало глаз своей неуместной роскошью среди дубовой строгости зала. Глубокая тарелка с гербом Карантаров – переплетенные вороны и дуб, выбитые так искусно, что казалось, птицы вот-вот сорвутся с места и улетят во тьму под потолок. Массивный кубок, инкрустированный гранатами, которые при свете свечей горели кровавыми искрами. Нож и вилка из того же желтого металла, тяжелые и неудобные в руке, с рукоятками, покрытыми затейливой вязью.

«Все для показухи», – пронеслось в голове, когда я опустилась в кресло и бархатная подушка мягко приняла мой вес. В моих кофейнях посуда была легкой, функциональной, стильной – белый фарфор, матовая керамика, тонкое стек-

ло, которое приятно держать в руке. Здесь же каждый предмет кричал о весе и цене, о том, сколько за него заплачено, сколько людей трудилось, чтобы добыть это золото и вправить в него эти камни. Я взяла в руку нож – он и правда был тяжелым, с непривычки запястье чуть дрогнуло. Им можно было не только мясо резать, но и череп проломить, если что.

У гостей посуда была попроще. Я скользнула взглядом вдоль стола, отмечая, кто где сядет, и заодно проверяя, все ли расставлено как надо. Ближе ко мне, по правую руку, должны были расположиться самые важные родственники – мои родители, дядюшка Бертран, тетя Марго с дочерьми, несколько старейших кузенов. У них на столе стояли оловянные тарелки, матово поблескивающие в свете свечей, оловянные же кубки, простые, без украшений, но добротные. Дальше, за ними, – те, кто победнее: дальние родственники, которых я видела раз в году и с трудом узнавала в лицо. У них была деревянная посуда – миски, ложки, кружки, – но тоже новая, без сколов и трещин, я следила за этим. Нельзя дать повод для упреков в скупости. Я помнила, как в прошлом году одна из троюродных теток долго рассматривала свою тарелку, выискивая изъяны, и, не найдя, поджала губы с таким видом, будто ее обделили. В этом году я распорядилась выставить все новое, что было в кладовых, пусть подавятся.

Дети должны были сидеть на отдельном конце стола, ближе к выходу в сад, чтобы не мешали, и чтобы их можно было

быстро вывести, если начнут капризничать. Для них поставили низкие скамейки и маленькие мисочки – тоже деревянные, но полегче, чтобы не перевернули на себя горячее.

Я скользнула взглядом по блюдам, мысленно оценивая меню и его подачу, как когда-то оценивала раскладку на банкетах в кофейне – все ли пропорции соблюдены, достаточно ли горячего, не переборщили ли с декором.

В центре, на огромном серебряном подносе, возлежал целиком зажаренный вепрь. Шкура его зарумянилась до хрустящей корочки, местами лопнувшей, и оттуда сочился прозрачный жир, стекающий на поднос тонкими струйками. В пасти у него торчало яблоко – кислое, зимнего сорта, которое должно было оттенять вкус мяса, но скорее служило украшением, потому что есть его никто не собирался. Вокруг головы обвивали гирлянды из зелени – петрушка, укроп, какие-то душистые травы, которые я велела нарвать в саду. Кабан смотрел на меня пустыми глазницами – глаза ему вставили из маслин, и они блестели в свете свечей почти как живые, отчего становилось слегка не по себе.

Рядом, на отдельных блюдах, лежали фазаны в полном оперении. Их хвосты веером расходились по серебру, перья переливались синим и зеленым, и птицы казались живыми, только что уснувшими. Я знала, что это мрачное украшение – оперение на жареной птице, гости будут снимать его руками, пачкаясь в жире и пепле от костра, на котором их жарили, но так было принято. Так ели их деды и прадеды, и ме-

нять традиции я не могла, как ни пыталась.

Дымящиеся окорока – три огромных куска свинины, обильно смазанные медом с горчицей. Мед карамелизовался на жаре, покрывая мясо темно-золотистой корочкой, от которой шел такой запах, что у самого стойкого слюнки могли потечь. Я распорядилась, чтобы их нарезали тонко, почти прозрачно, но повар посмотрел на меня как на сумасшедшую и сделал по-своему – толстыми ломтями, чтобы каждый гость чувствовал вес мяса на языке.

Целая рыба в желе, украшенная лимонными дольками. Рыбу привезли с юга, везли в бочках со льдом, и стоила она бешеных денег, но для такого случая я не пожалела. Желе застыло прозрачным, почти хрустальным слоем, сквозь который просвечивало розоватое мясо, а лимонные дольки – экзотика, которую я выписывала специально для такого случая, – лежали вокруг, яркие, как маленькие солнца. Пиры с пережаренным мясом и застывшим жиром были еще одним кошмаром из прошлой жизни этого тела, который я старалась смягчить, добавляя легкие блюда, зелень, свежие овощи, но полностью победить традицию тяжелой, жирной еды было невозможно.

Горы свежего хлеба – и пышные белые караваи, посыпанные мукой, с хрустящей корочкой, которая ломалась с тихим треском, если нажать пальцем, и темный, ржаной, плотный, пахнущий солодом и тмином. Хлеб лежал на деревянных досках, прикрытый льняными полотенцами, чтобы не

черствел до времени.

Чаши с фруктами – яблоки, груши, первые летние ягоды. Ягоды были мелкими, кисловатыми, их только начали собирать в лесу, но они уже атели в плетеных корзинах, пересыпанные мятой, чтобы не мялись. Я знала, что дети набросятся на них в первую очередь, перепачкают соком рубашки и лица, и нянькам потом придется оттирать их мокрыми тряпками, но это была мелочь.

Овощи, тушеные в миндальном молоке с шафраном. Это блюдо стояло особняком, на отдельном подносе, ближе ко мне. Одна из моих небольших побед, попытка внести что-то легкое в этот мясной пир горой. Морковь, репа, молодой лук, немного кабачков – все это томилось в миндальном молоке, пока не становилось мягким, а шафран окрашивал его в нежно-желтый цвет и давал тонкий, чуть горьковатый аромат. Гости косились на это блюдо с подозрением – овощи без мяса казались им странной едой, почти голодной, – но я велела поставить, и пусть стоит. Может, кто-нибудь и попробует.

И, конечно, кувшины. Повсюду. Глиняные, пузатые, с узкими горлышками и широкими ручками. С вином – красным, густым, почти черным, от которого вязало во рту, и светлым, похожим на эль, легким и чуть шипучим. С медовухой, которую так любили дядюшки – сладкой, хмельной, ударяющей в голову быстрее любого вина. И несколько кувшинов с обычной водой – ключевой, холодной, которую я

велела приносить каждые полчаса. Простая моя прихоть, которую гости считали чудачеством, но я помнила, как на первых порах задыхалась от их привычки запивать жирное мясо сладким вином и мучилась жаждой, которую нечем было утолить.

Я села в кресло, и зал вокруг меня зашевелился, задвигался, зашумел. Гости рассаживались, толкались локтями, перекрикивались через стол, хватали хлеб, наливали вино. Кто-то уже запустил руку в миску с ягодами, несмотря на то, что церемония еще не началась. Дети повисли на скамейках, визжа и пихаясь.

Я положила руки на подлокотники, чувствуя под ладонями гладкое, отполированное дерево. Вдоль стола стоял гул – десятки голосов, сливающихся в один непрерывный шум, от которого у меня уже начинала болеть голова. Пахло едой, потом, духами, свечным воском и еще чем-то неуловимым, чем всегда пахнут большие скопления людей в замкнутых пространствах.

– Ариадна, дорогая, ты просто затмила щедростью саму королеву Лебедей! – прокричал через весь стол Эдвин, уже наливший себе второй кубок. Голос его плыл над залом, цепляясь за сводчатый потолок, и несколько человек обернулись на него с раздражением – тост был неуместен, церемония еще не началась. Но Эдвину было все равно: щеки его уже порозовели от вина, глаза блестели маслянистым блеском, а усы, закрученные в стрелки, слегка обвисли от жара свечей

и выпитого. Он поднял свой кубок – оловянный, потому что золотой ему не полагался, – и салютовал мне через головы сидящих, расплескивая несколько капель на скатерть.

Я кивнула ему с той же фальшивой улыбкой, беря в руки свой тяжеленный кубок. Гранаты на нем охладили пальцы, и я чуть повернула его, чтобы свет заиграл на гранях камней.

– Вино с наших южных склонов, кузен. – Мой голос был ровным, спокойным, без тени той хмельной расслабленности, что звучала в его выкриках. – Надеюсь, оно тебе понравится.

Оно должно было пойти на продажу в порт, в трюмы кораблей, что уходят за море, где за него дали бы хорошую цену звонкой монетой. Но теперь утолит твою жажду. Я знала это, когда отдавала распоряжение: три бочки снять с подвод, что готовились к отправке, и оставить для пира. Торговец в порту будет ждать, будет писать письма, будет недоумевать, а вино тем временем лилось в кубки родственников, которые и спасибо-то скажут сквозь зубы.

Поднимая кубок для общего тоста, я ловила на себе десятки глаз. Они были повсюду – справа и слева, из-за плеч, из-за дымящихся блюд, из полумрака дальнего конца стола. Завистливые глаза тетушек, которые прикидывали, сколько стоил этот вечер и нельзя ли выпросить хоть часть оставшейся на столах еды. Подобострастные глаза дальних родственников, которые надеялись, что я замечу их и, может быть, вспомню о них в трудную минуту. Голодные глаза кузенов,

которые уже сейчас, глядя на вепря и фазанов, думали о том, как бы увезти с собой кусок пожирнее, завернув в холстину и спрятав в узлы. И глаза отца – тяжелые, темные, изучающие, с прищуром человека, который всегда ищет, к чему бы придраться.

«Арина Горторская, – думала я, сжимая пальцами ножку кубка, – ты на кейтеринге какого-то сюрреалистического корпоратива. Выдержи. Клиент всегда прав, даже если он твой кровный родственник и мечтает за твой счет поправить дела». Я вспомнила свои кофейни, утреннюю суету, когда надо было улыбаться сонным людям, которые еще не проснулись и злились на весь мир. Я вспомнила, как однажды одна женщина устроила скандал из-за того, что в ее латте было 85 градусов, а не 80, и я стояла и кивала, и предлагала сделать новый, хотя внутри все кипело. Здесь было то же самое. Только декорации другие.

– За семью! – провозгласила я звонким, ясным голосом, которым когда-то объявляла скидки на капучино в часы пик, чтобы привлечь побольше клиентов и сгладить очереди.

– За семью! – гулко ответил зал, и звон посуды на мгновение заглушил назойливое хлопанье двери из прихожей, которое все еще доносилось сюда сквозь толщу стен и голосов. Сотни рук потянулись к кубкам, сотни глоток сделали глоток, и на мгновение воцарилась тишина – та особая тишина, когда все пьют одновременно и только слышно, как булькает вино, переливаясь из кубков в глотки.

Ели первое время в почтительном молчании, нарушаемом лишь звоном ножей о тарелки и приглушенными просьбами передать то или иное блюдо. Я слышала, как справа от меня кто-то шепотом просил хлеба, как слева ложечка звякнула о миску с овощами, как где-то в дальнем конце ребенок поперхнулся и закашлялся, а мать зашикала на него, призывая к тишине. Я сосредоточенно резала кусок фазана – мясо было суховатым, как всегда бывает у дичи, если ее чуть переждать, – чувствуя, как напряжение за столом постепенно сменяется обычным для таких собраний деловым настроением. Сначала еда, потом разговоры. Сначала насыщение, потом просьбы. Так было заведено, и все знали этот порядок.

И как только основные порции были разобраны, когда вепрь лишился половины своего бока, а фазаны – груденок и ножек, когда хлебные корки захрустели на зубах и дети перепачкались в ягодах, мать, сидевшая по мою правую руку, мягко, но неумолимо начала.

Мать – женщина с гладко зачесанными седеющими волосами, уложенными в тугой узел на затылке, в темно-сером платье, единственном своем приличном наряде, который я помнила с детства этого тела, – повернулась ко мне всем корпусом. Глаза у нее были светлые, выцветшие, но взгляд – цепкий, как у птицы, высматривающей зерно в траве. Она не повышала голоса, говорила тихо, почти ласково, но каждое слово падало в тишину, и ближайшие соседи затихли, прислушиваясь.

– Ариадна, милая, – голос ее звучал заботливо, но я знала эту интонацию. Столько лет в бизнесе, столько переговоров с поставщиками, которые сначала хвалили мою кофейню, а потом просили скидку. – Прекрасный прием. Ты так радуешься о семье. Это трогательно.

Она сделала паузу, и я физически ощутила, как воздух вокруг нас сгустился. Отец слева от меня замер, перестав жевать. Мать продолжила:

– Кстати о семье... у кузины Эллен младший совсем захихикал. – Она вздохнула, прикладывая салфетку к уголкам губ, хотя там ничего не было. – Ты же знаешь Эллен, бедняжка совсем извелась. Ребенок кашляет, не спит ночами, а местный знахарь только травки какие-то сует, и все без толку. Твой придворный лекарь, говорят, творит чудеса с травами. – Она посмотрела на меня с той особенной материнской интонацией, которая означала: ты не можешь отказать, я же твоя мать. – Не смогла бы ты его к ним направить? Конечно, я понимаю, он занят, у тебя свои заботы, но родня ведь. Кровь. Эллен так убивается, что сердце разрывается.

Я отодвинула тарелку на дюйм, давая себе секунду. Фазан остывал, жир на подливке начинал застывать тонкой пленкой. Я посмотрела на мать, потом на отца, который делал вид, что изучает узор на своем кубке, но краем глаза следил за нами.

– Лекарь Генрих сейчас в отъезде, матушка. В деревнях на севере поместья народ скосила лихорадка. – Я говорила спокойно, деловито, как объясняла клиентам, почему их люби-

мый сорт кофе временно отсутствует в меню. – Дети болели, старики слегли, пришлось отправить его туда с настойками и сборами. Я получила весточку вчера: лихорадка отступает, но он еще нужен там. Но как только он вернется, я передам ему твою просьбу о мальчике. Думаю, через неделю-полторы, если дороги позволят.

Мать моргнула, переваривая информацию. Неделя-полторы – это было не сразу, но и не отказ. Она кивнула, принимая, но я знала, что это только начало.

– О, это было бы милостиво, – сказала она, и в голосе ее проскользнула та нотка, которая означала: первая просьба удовлетворена, можно переходить ко второй. – И еще о твоей племяннице, дочери Лии. – Она чуть повернулась, указывая взглядом в дальний конец стола, где Лия, покрасневшая от жары и вина, пыталась утихомирить младшего, который тянул руки к чужой тарелке. – Девочке уже семь, посмотри на нее – она же дикарка растет, бегает по двору, чулок не напасешься. Пора бы думать о наставнице. А ты сама прекрасно образована, у тебя книги, ты языки знаешь... Могла бы взять ее в замок на лето? Облегчило бы сестре бремя, а девочке дало бы старт. – Мать подалась чуть вперед, и я почувствовала запах ее духов – лаванда и еще что-то терпкое, старое. – Всего на лето, Ариадна. Лия потом скажет тебе спасибо, и девочка приобщится к культуре. Ну что тебе стоит?

Я сделала глоток воды из своего кубка – простой ключевой воды, которая стояла у меня под рукой в отдельном кув-

шине. Вода была холодной, с привкусом серебра, и на мгновение прочистила голову. Слева от меня отец тяжело переложил нож с одной стороны тарелки на другую. Жест, который я уже научилась распознавать: он готовился вступить в разговор.

– Обсудим после праздника, мама. – Я поставила кубок на место и посмотрела матери прямо в глаза. – Отдельно. Я не могу ничего обещать сходу. Мне нужно подумать, посмотреть расписание, понять, чем я могу быть полезна. Лето – время сбора трав, работы в саду, у меня свои планы.

Мать открыла рот, чтобы возразить, но тут в разговор вступил отец. Его низкий голос, всегда звучавший как отдаленный гром, когда он был недоволен, заставил смолкнуть разговоры на ближнем конце стола. Даже те, кто делал вид, что не слушает, замерли, уткнувшись в тарелки.

– Урожай в этом году – жалкое зрелище, – проворчал он, не глядя на меня, уставившись в свое вино, будто там можно было прочесть будущее. Голос его был густым, с хрипотцой, которая появлялась, когда он волновался или злился. – Дожди шли не в то время. У Бертольда в низине все вымокло – рожь полегла, почернела, собирать нечего. У Гарольда – градом побило за два дня до жатвы. Поля как после битвы. – Он покачал головой, и седые волосы его блеснули в свете свечей. – Нужно будет смотреть на запасы зерна. Всем.

Он многозначительно ударил пальцем по столу рядом со своим кубком. Удар был глухим, но весомым, и я почувство-

вала его вибрацию через дубовую столешницу.

– А то запасешься на десять лет вперед, – он повернул голову и впервые за вечер посмотрел прямо на меня, и взгляд его был тяжелым, как камень, – а родня пухнет с голоду. Непорядок.

В его словах не было прямой просьбы. Было констатирование факта, который обязывал меня, как самую обеспеченную в роду, этот факт исправить. Отец не просил – он ставил перед фактом, и делал это так же естественно, как дышал. Я смотрела на его руку, лежащую на столе рядом с кубком, – грубую, исчерченную морщинами, с крупными суставами, распухшими от старости и тяжелой работы в молодости. Руку человека, который всю жизнь прожил в этом мире, принимая его правила и не пытаясь их изменить. Он не понимал, почему я веду хозяйство иначе, но не спорил – пока результаты говорили сами за себя. А теперь результаты говорили о том, что у меня есть лишнее, а у других нет, и это лишнее должно быть распределено.

Меня слегка подташнивало от тяжелой пищи и этого прямого давления. Фазан лежал в желудке плотным комком, жирная подлива отдавала горечью во рту, а вино, которое я почти не пила, все равно чувствовалось на языке сладковатым привкусом. Я отодвинула тарелку чуть дальше, чтобы не видеть остывающее мясо, и сделала глоток воды, надеясь, что холод собьет тошноту.

– Сводки по урожаю со всех угодий я жду к концу неде-

ли, отец, – сказала я ровно, глядя на его руку, а не в глаза. – Тогда и будет видна общая картина и объемы необходимой помощи. Я не допущу, чтобы на землях Карантара кто-то голодал.

Это была не эмоция, не порыв благотворительности, не желание прослыть доброй. Это было холодное, управленческое решение, продиктованное опытом прошлой жизни. Голодные люди – это бунты, болезни и упадок производительности. Я помнила, как в моем городе на Земле закрывали заводы и люди выходили на улицы с плакатами. Здесь не было плакатов и митингов, здесь были вилы и факелы, и горели амбары, а не автомобили. Помощь – это инвестиция в стабильность, в то, чтобы мои поля и дальше обрабатывались, чтобы мои склады не разграбили ночью, чтобы через год мне было кому продать зерно по хорошей цене. Я просчитывала это так же холодно, как просчитывала закупки кофе на год вперед, когда знала, что в Бразилии был неурожай, и цены взлетят.

Отец хмыкнул, удовлетворенный, но не показавший этого. Он только чуть пригубил вино и поставил кубок обратно, тяжело, с глухим стуком о дуб. Лицо его осталось непроницаемым, но я знала этот хмык – он означал: «Добро, сделано как надо». Он никогда не хвалил напрямую, считая похвалу баловством, которое портит детей. Но хмык был высшей оценкой.

Мать положила свою тонкую руку мне на запястье. Рука

была прохладной, с выступающими венами и тонкой, почти прозрачной кожей, усыпанной мелкими пигментными пятнами. От нее пахло все той же лавандой – она любила этот запах и клала сухие цветы в сундук с одеждой, так что все ее вещи пропахли им насквозь.

– Мы знаем, что ты всё устроишь наилучшим образом, дочка. – Голос ее был мягким, успокаивающим, но пальцы чуть сжались на моем запястье, и я поняла: она не столько хвалит, сколько закрепляет договоренность. Чтобы я не забыла, чтобы не передумала. – Ты у нас крепкая хозяйка. Всегда была. Еще в детстве, помню, ты свои игрушки по местам раскладывала, никому не давала раскидывать. И сейчас так же – все у тебя по полочкам.

«Крепкая хозяйка», – эхом отозвалось во мне, и я чуть не усмехнулась, но вовремя прикусила губу. На Земле я сводила баланс, считала прибыль, увольняла нерадивых сотрудников и договаривалась с арендодателями о снижении ставки. Здесь я балансирую между родственными обязательствами, традициями, которые мне чужды, и желанием просто закрыть дверь, запереться в своих покоях и не видеть никого до следующего солнцестояния. Крепкая хозяйка. Да, наверное. Только хозяйство у меня теперь другое, и масштабы другие, и инструменты – не электронные таблицы, а амбары, полные зерна.

Я мягко освободила запястье из материнских пальцев, чтобы взять кубок. Жест был плавным, необидным – я про-

сто потянулась за вином, которое не собиралась пить, но это позволило мне убрать руку, не создавая неловкости.

– Спасибо за доверие, – произнесла я нейтрально, тем самым тоном, которым в кофейне отвечала на комплименты: вежливо, но без вовлеченности.

И подняла взгляд, ловя через три человека обеспокоенный взгляд моей сестры Лии. Она сидела с детьми, вся покрасневшая, с выбившимися из-под чепца волосами. Старший мальчик рядом с ней ковырял ложкой в тарелке, размазывая кашу, девочка тянулась к куску хлеба, перепачканному ягодным соком. Лия смотрела на меня поверх их голов, и в глазах ее была тревога – не за себя, за дочь. Она слышала разговор, она знала, что мать уже предложила забрать девочку в усадьбу, и боялась моего ответа.

Я едва заметно кивнула ей. Движение было маленьким, почти неуловимым – просто чуть склонила голову, встретившись с ней взглядом. «Не волнуйся. Твой ребенок не станет разменной монетой. Пока что». Я не знала, поймет ли она, но ее плечи чуть расслабились, и она отвернулась к детям, поправляя на младшем одеяльце.

Беседа за столом, подхваченная родительским «стартом», оживилась, превратившись в гул взаимных жалоб, скромных похвал и осторожных расспросов. Теперь, когда мать и отец задали тон, все почувствовали себя свободнее. Слева от меня тетя Марго что-то втолковывала соседке о том, как трудно нынче с хорошей шерстью, и как дорого берут ткачи, и что у

Анны совсем изнашивалось платье, а у Клары и вовсе одно на выход. Справа дядюшка Бертран кашлял в кулак и жаловался на сырость в своем доме, который, по его словам, «совсем разваливается, а починить не на что». Дальше, вдоль стола, переговаривались кузены, обсуждая цены на ярмарке и то, что купцы стали запрашивать втридорога.

Я откинулась на спинку «трона», позволяя волне разговоров прокатиться мимо. Бархатная подушка мягко приняла мою спину, и я позволила себе на мгновение прикрыть глаза, делая вид, что слушаю отца, который снова заговорил о чем-то с соседом слева. В голове уже выстраивался мысленный список, аккуратный, по пунктам, как я любила:

Лекарь Генрих. Вернется через неделю, не раньше. Отправить его к кузине Эллен сразу по возвращении, но велеть осмотреть сначала всех в деревне – мало ли, лихорадка могла вернуться. Мальчику поможет, если не запустили совсем. Если запустили – ничего не сделает, но попытка будет зачетна.

Зерно. Сводки через неделю. Посчитать, сколько у меня в амбарах, сколько можно отдать без ущерба для продаж и собственных нужд. Отдать не просто так, а под запись, под будущие поставки или работу. Пусть отработывают, если хотят есть. Инвестиция в стабильность, но не благотворительность. Благотворительность развращает, я это знала по опыту.

Племянница. Лия, девочка, лето. Самый сложный пункт.

Если взять – мать будет довольна, Лия напугана, девочка – обуза и ответственность. Если не взять – мать обидится, Лия будет бояться, что я отвергла ее ребенка. Надо подумать. Может, взять на две-три недели, в конце лета, показать девочке библиотеку, поучить немного, но не брать на полное попечение. Чтобы и матери было облегчение, и я не сходила с ума от детского шума в доме.

Я открыла глаза и обвела взглядом зал. Очередные пункты в долгосрочном плане управления кризисами под названием «Семья». Где-то в груди шевельнулась усталость, глухая и тяжелая, как тот камень, что лежал в фундаменте этой усадьбы. Но я знала: это только начало. Впереди был еще весь вечер, и тосты, и разговоры, и просьбы, и намеки, и долгие проводы. Я сделала еще один глоток воды и снова улыбнулась, потому что ко мне уже пробиралась троюродная сестра с вопросом о том, не осталось ли у меня старой детской одежды – «совсем малышам, Ариадна, ты же понимаешь, как трудно растить детей, когда цены такие».

Глава 4

Наконец, последние гости, зевнув и поблагодарив, потянулись в боковые флигели, где для них были приготовлены комнаты. Сегодня они все переночуют в усадьбе, а уже завтра, после завтрака, вернутся в свои дома. Не сказать, что я была рада такой традиции, но потерпеть многочисленную родню два-три раза в год могла. Я, ощущая приятную усталость в спине от долгого сидения в неподвижной позе и легкую головную боль от постоянного шума, медленно пошла по главной лестнице на второй этаж, мечтая о тишине, теплой ванне с лавандой и одиночестве. Еще пара минут – и я была бы в своей башне, за тяжелой дубовой дверью с железными засовами, закрытой для всего мира. Но не успела я сделать и десяти шагов по прохладной каменной галерее, ведущей в личные покои, как из глубокой тени у высокой готической колонны появилась Лия.

– Ариадна, подожди минутку, можно? – ее голос был тихим, но настойчивым, звучал немного хрипло после долгого вечера.

Я остановилась и оперлась плечом о прохладный камень стены. Бежать было уже некуда – Лия стояла между мной и лестницей на второй этаж, и обойти ее, не сделав вид, что я нарочно избегаю разговора, было невозможно. А делать вид я устала. Весь вечер я только и делала, что изображала раду-

шие, и сейчас, в полумраке галереи, где факелы горели вполсилы, экономя воск, мне хотелось только одного: сбросить туфли, вынуть шпильки из волос и закрыть за собой тяжелую дубовую дверь. Но Лия стояла передо мной, и в ее светлых глазах было что-то такое, что заставляло меня остаться.

Галерея тянулась вдоль всего второго этажа, соединяя главную лестницу с башней, где располагались мои покои. Здесь было прохладно даже летом – каменные стены толщиной в метр не прогревались никогда, и воздух пах сыростью, старым деревом и железом факелов. Высокие готические колонны, на которые опирались своды, уходили вверх, теряясь в темноте, и тени от них ложились на пол длинными, дрожащими полосами. Где-то внизу, в зале, еще слышались голоса – слуги убирали со столов, гости расходились по флигелям, но здесь, наверху, было тихо, только факелы потрескивали и где-то далеко скреблась мышь.

Лия стояла передо мной, и я могла рассмотреть ее при свете факелов так, как не видела за столом. Платье ее, простое, из добротной, но немодной шерсти цвета охры, было аккуратно подшито по краям рукавов и подола – я заметила, что строчка была неровной, явно домашней, не мастерской. Она перешивала его сама, наверное, в который раз, приспособивая под растущий живот. Ткань на локтях чуть поистерлась до белесых пятен, но дыр не было – Лия следила за одеждой, потому что другой не было. Живот выпирал вперед округлым, твердым шаром, и она, кажется, даже не думала при-

крывать его шалью или скрывать позой, как это делали бы другие дамы в ее положении. Она стояла прямо, держа руки на поясе, и в этой позе чувствовалась привычная уверенность женщины, которая родила троих и знает, что с четвертым справится.

В одной руке она сжимала небольшой льняной сверток – я сразу узнала ткань, это были салфетки с моего стола, тонкие, с вышитыми уголками. В свертке угадывались очертания чего-то плотного – похоже, остатки миндальных пирожных и засахаренных фруктов с общего стола, ловко припрятанные для своих ребят. Я видела, как за столом она незаметно, под салфеткой, перекладывала сладости в карман, и никто, кроме меня, этого не заметил. Или заметили, но промолчали – бедная родня всегда так делает, прячет еду, потому что дома детей кормить нечем.

– Ты проворна, как горная серна, несмотря на все, – сказала я беззлобно. Камень холодил даже сквозь бархат платья, и я чуть поежилась, но не подала виду.

– Иначе не управиться с моей оравой, – она улыбнулась своей открытой, чуть усталой улыбкой, от которой легкие лучики морщин разбежались от глаз. Улыбка у Лии была теплой, настоящей, не такой, как мои дежурные оскалы на гостей. – Спасибо за прием. Правда, спасибо. Дети наелись до отвала, я давно не видела их такими сытыми. Старший все уши прожужжал про фазана – говорит, у нас такого не едали.

Она подошла ближе, и в свете факелов я разглядела мел-

кие веснушки на ее носу – они всегда проявлялись летом, сколько я ее помнила, – и легкую отечность вокруг глаз. Следы долгой дороги и беременности, когда организм держится из последних сил, но виду не показывает. От нее пахло дорожной пылью – тонкий слой серой пыли покрывал подол платья и плечи, – детской притиркой из ромашки, которой она, видно, мазала младшего перед сном, и тем особым, чуть сладковатым теплом, которое всегда исходит от беременных. Ее руки, которые она протянула ко мне, были красными, натруженными, с обкусанными ногтями и мозолями на ладонях – руки женщины, которая стирает, убирает, готовит и управляется с тремя детьми без прислуги.

Глаза ее, такие же светлые, как мои, но более живые, менее отстраненные и более беззащитные, смотрели на меня со смесью благодарности и привычной, почти инстинктивной надежды. Она смотрела на меня, как смотрят на старшую сестру, которая всегда была умнее, удачливее, богаче, и ждала – то ли помощи, то ли просто доброго слова.

– Норберт шлет свои извинения и поклоны, – продолжила она, понизив голос до доверительного шепота, хотя вокруг кроме нас в галерее никого не было. Тени от факелов плясали по стенам, и где-то далеко, внизу, хлопнула дверь – последняя, наверное, гость ушел во флигель. – Нога заживает плохо, кость, видно, неправильно срослась. Он злится, как раненый вепрь в капкане. Мечется по комнате, ругается, а сделать ничего не может. Я ему говорю: лежи, не дергайся,

а он только злее становится.

Она вздохнула и поправила сверток в руке, перекладывая его поудобнее.

– Боюсь, ему еще долго не ходить не то что на охоту – по поместью толком объехать. А арендаторы, сама знаешь, народ такой: чуть ослаб – уже и не слушаются, и не платят, и скотину не кормят как надо. Он места себе не находит, рвется, а встать не может. А это... – она запнулась и посмотрела на меня, и в глазах ее мелькнула та самая надежда, которую я боялась увидеть. – Ты сама понимаешь.

Я понимала. Охота для мелкого дворянина вроде Норберта – не развлечение, а способ пополнить погреб и сделать запасы на зиму. Мясо дичи, шкуры, жир – все шло в дело. Сломанная нога означала не только расходы на лекаря и костоправа, но и потенциальные проблемы с провиантом, ослабление контроля над арендаторами и, как следствие, уменьшение и без того скромных доходов. А с четвертым ребенком на подходе каждый кусок мяса был на счету.

– Дети? – спросила я, уже мысленно прикидывая, какой именно излишек зерна из своих амбаров можно будет ненавязчиво переправить к ним осенью, под видом традиционной помощи после недорода. Рожь или пшеницу? Рожь сытнее, но пшеница дороже, и ее можно продать, если не отдавать. Нет, рожь – от нее больше толку, из нее хлеб, каша, да и на прокорм скоту остатки пойдут. Пару мешков, не больше, чтобы не разбаловать, но чтобы хватило до зимы. И сколь-

ко шкур из зимней выделки отправить им на одежду? Прошлогодние овчины еще лежат в кладовой, хорошие, теплые, на детские тулупчики как раз пойдут. И на рукавицы, и на шапки. Надо будет велеть ключнице отобрать штук пять помягче, без проплешин, и завернуть в холстину, будто так и задумано было.

– Славные, здоровые, слава богам. – Лия улыбнулась той особенной материнской улыбкой, которая появляется, когда говоришь о детях. – Младший, Томмин, все спрашивал, когда мы поедем «к тете в большой-большой замок». Для них это... ну, знаешь. Настоящее приключение. Простор, сладости, которые я не могу позволить себе готовить часто, новые лица, даже служанки кажутся им принцессами. – В ее голосе звучала и гордость за своих ребятишек, которые так радуются жизни, и та самая приглушенная горечь постоянной экономии, которая заставляла радоваться даже такому вынужденному, формальному гостеприимству. Я знала этот тон – им говорят женщины, которые отказывают себе во всем, чтобы дети были сыты и одеты, и для которых кусок пирожного становится событием на месяц.

Я кивнула, глядя куда-то мимо ее плеча, в темное, отражающее нас окно в конце галереи. Стекло было мутным, старым, в свинцовом переплете, и в нем дрожало наше отражение – две женщины в полумраке, одна в тяжелом бархате, другая в потертой шерсти, и между ними расстояние в несколько шагов и целая пропасть жизней. За окном бы-

ла ночь, черная, безлунная, только где-то далеко, в деревне, мерцали редкие огоньки.

Эти визиты были для нее и детей глотком воздуха, возможностью немного пожить в ином, более безопасном и обеспеченном мире, где пахнет не коптящим салом и кислыми щами, а, например, сушеными травами, воском и старыми книгами. Где стены не давят, где есть лестницы, по которым можно бегать, и залы, в которых можно спрятаться. Я помнила, как в первое лето, когда я только оказалась в этом теле, дети Лии носились по галереям с таким восторгом, будто попали в сказку. Они трогали гобелены пальцами, замороженно разглядывая вытканых оленей, и шептались о том, что здесь, наверное, живут привидения.

И потому, даже понимая, как они выматывают меня – их крики, топот, вечные просьбы и вопросы, – я не могла ей отказать и пыталась сделать их жизнь здесь немного комфортнее. Я велела постелить в детской комнате мягкие тюфяки, поставить кувшин с молоком на ночь, принести игрушки, которые остались от моего детства этого тела – деревянных лошадок, кукол в тряпичных платьях, кубики с буквами. Я распорядилась, чтобы кухня всегда держала для них что-нибудь сладкое, а няньки не слишком одергивали, если они шумят.

Это была не просто тягостная традиция. Это был один из немногих якорей, связывающих меня с этой жизнью, с этими людьми, с ролью Ариадны горт Карантар, которую я не выбирала, но в рамках которой научилась действовать с

минимальными эмоциональными потерями и максимальной практической эффективностью. Лия и ее дети были настоящими – не теми родственниками, что приезжали с расчетом в глазах, а просто живыми людьми, которые радовались простым вещам. И ради этого стоило терпеть шум и суету.

– Завтра, после завтрака, зайди ко мне в кабинет перед отъездом, – сказала я уже более мягко, пряча руки в широкие бархатные рукава. Там, в складках ткани, было тепло и уютно, как в маленьком убежище. – У меня собрались кое-какие вещицы для ребят – книги с картинками, которые заказали для библиотеки, да не подошли. Томмину, может, понравятся – там про рыцарей и драконов. И пара новых трактатов по травничеству для тебя. – Я посмотрела на нее, и в голосе моем прозвучало то, что я редко позволяла себе с другими – тепло. – Чтобы было чем заняться долгими вечерами, пока Норберт хромает по кабинету и ворчит на жизнь.

Я знала, что Лия любит возиться с травами. У нее в поместье был маленький садик, где она растила мяту, ромашку, зверобой, и она умела делать настойки и мази не хуже моего лекаря. Книги, которые я заказывала для себя, часто были сложными, учеными, но среди попадались и такие, где простым языком объяснялось, как сушить корни и смешивать сборы. Я откладывала их для нее, зная, что это единственная роскошь, которую она может себе позволить, – знания.

Ее лицо озарилось такой искренней и безудержной радостью, что мне на мгновение стало почти неловко за

свое предыдущее раздражение и холодный расчет. Глаза ее вспыхнули, щеки порозовели еще сильнее, и она прижала свободную руку к груди, туда, где под потертой тканью билось сердце.

– Спасибо, сестра. – Голос ее дрогнул, и она быстро моргнула, прогоняя непрошеную влагу. – Ты... ты всегда знаешь, что нужно. Правда. Я иногда думаю – как ты все успеваешь, как помнишь про всех? У тебя же столько забот, столько людей вокруг, а ты... про мои травы помнишь, про детей, про все.

«Нет, – подумала я, глядя, как она осторожно, но все так же быстро и легко двинулась обратно к лестнице, ведущей в гостевые комнаты, прижимая сверток с лакомствами к груди, будто это было самое дорогое, что у нее есть. – Я просто наблюдаю и вычисляю». За годы управления кофейнями я научилась замечать детали: кто из клиентов приходит с утра и заказывает одно и то же, кто не любит громкую музыку, у кого день рождения и стоит подарить десерт. Здесь было то же самое. Я просто перенесла эти навыки в новую реальность.

Счастливая, хоть немного отвлеченная сестра с полным погребом и здоровыми детьми – это значительно меньше головной боли и моральных обязательств, чем несчастная, отчаявшаяся и постоянно обращающаяся за помощью. Инвестиция в ее стабильность была инвестицией в мое спокойствие. И все же, глядя, как легко она сбегает по ступенькам,

я чувствовала что-то еще – не только расчет, но и что-то живое, теплое, что просыпалось во мне, когда я думала о ней и ее ребяташках.

А книги... Я вспомнила свои первые месяцы в этом теле, когда я запиралась в библиотеке и читала все подряд – историю, травники, старые хроники, – пытаюсь понять этот мир, его законы, его людей. Книги были моим единственным спасательным кругом и учителями, когда я только попала сюда, когда не знала, кому можно верить, а от кого держаться подальше. Может, и ей они помогут не чувствовать себя в западне, не задыхаться от быта и вечной нехватки денег. Может, они дадут ей то, чего у меня было вдоволь, а у нее – почти нет: пространство для мыслей.

Я повернулась и наконец пошла к своей башне, чувствуя, как тяжелое платье окончательно сковывает движения, а в ушах все еще звенит от гомона. Каблуки туфель цокали по каменным плитам галереи, и звук этот разносился в тишине, отражаясь от стен. Где-то внизу, в гостевых комнатах, затихали последние голоса, слуги убрали посуду, и усадьба постепенно погружалась в ночной сон.

Еще один вечер позади. Осталось только пережить завтрашний завтрак – с его неизбежными прощаниями, обещаниями писать, приезжать, помогать, – раздачу прощальных подарков, которую я уже продумала до мелочей: тетушкам – отрезки ткани, кузенам – по мешочку монет, детям – сладости и игрушки, – и с облегчением наблюдать, как пустеет

двор, как кареты и телеги одна за другой выезжают за ворота, и гравий хрустит под колесами, унося с собой шум этого дня.

Я дошла до тяжелой дубовой двери, ведущей в мою башню, и толкнула ее плечом. Дверь подалась с тихим скрипом – я велела смазывать петли, но дерево все равно скрипело, старое, вековое. За ней была темнота, тишина и запах сушеной полыни, который я так любила. Я вошла, закрыла дверь и задвинула тяжелый железный засов, отсекая весь мир.

Тишина накрыла меня, как теплое одеяло. Я прислонилась спиной к двери и закрыла глаза, позволяя себе наконец-то устать. Впереди была ночь, ванна с лавандой, мягкая постель и одиночество – то самое драгоценное одиночество, ради которого я готова была терпеть эти пиры, этих гостей, эти бесконечные просьбы. Я открыла глаза и пошла вглубь башни, сбрасывая на ходу тяжелые туфли и расстегивая крючки на платье. Завтра будет новый день. А сегодня – тишина.

Глава 5

Ночь не принесла покоя. Мне снился сон, яркий и давящий, такой реальный, что я до сих пор чувствовала на коже липкий ужас погони.

Я бежала по бесконечным коридорам своего же замка, но знакомые стены изменились, вытянулись, сомкнулись в лабиринт. Камни, которые я знала с детства этого тела – серые, с темными прожилками, кое-где тронутые мхом, – теперь стали чужими, давящими, они надвигались на меня, сужая проходы. Своды уходили так высоко, что терялись во тьме, и оттуда, сверху, капала вода, холодными каплями падая мне на лицо и плечи. Факелы на стенах горели синим, неестественным пламенем, отбрасывая длинные, искаженные тени, которые тянулись ко мне, как руки.

За мной, неотступно, словно единый многоголовый зверь, двигалась толпа. Я не видела их лиц ясно – только размытые пятна, но безошибочно узнавала по силуэтам, по походке, по тому, как они двигались. Тетя Марго с ее острыми локтями, выставленными вперед, будто она проталкивалась сквозь толпу на рынке. Дядюшка Бертран, с тяжелым, сиплым дыханием, которое я слышала даже сквозь гул голосов, – он задышался, но не отставал. Кузен Гарольд с пустыми глазницами, черными провалами, из которых сочилась тьма, и его руки, худые, как палки, тянулись ко мне, царапая воздух. Их голо-

са сливались в гулкий, неразборчивый гомон, эхом отражавшийся от стен и множившийся, как в соборе во время службы. Из этого гула выхватывались лишь обрывки фраз, повторяющиеся снова и снова, как заевшая пластинка: «Должна...», «Семья...», «Помоги...», «Отдай...»

Я сворачивала в темные арки, ныряла в проходы, которые вели только вниз, в подземелья, но ноги сами несли меня дальше. Я спускалась по витым лестницам, ступени которых были скользкими от сырости, и каждый шаг отдавался гулким стуком, который, казалось, привлекал их еще больше. Лестницы вели в тупики – в комнаты без дверей, в залы, заваленные рухнувшими балками, в коридоры, обрывающиеся в пропасть. И каждый раз я разворачивалась и бежала обратно, прямо в толпу, и снова сворачивала, и снова бежала.

Зеркала в позолоченных рамах, мимо которых я пробежала, отражали не меня. В них была только толпа – все ближе, все больше, все плотнее. Их лица, которые я не могла разглядеть вживую, в зеркалах проступали четко: искаженные рты, раскрытые в беззвучном крике, глаза, полные требования, пальцы, скрюченные, как когти. Я видела, как они надвигаются на меня со всех сторон, и понимала, что бежать некуда – зеркала множили их, заполняя собой весь мир.

Я чувствовала на спине холод их дыхания – гнилостный запах старой еды, прокисшего вина, застарелой болезни. Тянущиеся руки, цепкие, как корни, хватали меня за платье, за волосы, за рукава. Бархат, который вчера казался просто

тяжелым, теперь превратился в саван, обвивавший ноги, тянувший вниз, мешавший бежать. Я спотыкалась о собственный подол, падала, поднималась и снова бежала, чувствуя, как пальцы царапают кожу через ткань.

Сердце колотилось так, словно пыталось вырваться из груди, проломив ребра. Я слышала его удары – бум-бум-бум – громче шагов, громче голосов, громче всего. Воздуха не хватало, легкие горели, и каждый вдох давался с таким трудом, будто я дышала через воду.

Последним усилием я рванула тяжелую дверь в старую библиотечную башню. Дверь была дубовой, окованной железом, такой же, как в реальности, но во сне она поддалась не сразу – я дергала ручку, слыша, как толпа за спиной нарастает, и наконец створка распахнулась. Я втиснулась в щель, захлопнула дверь и, обессиленная, прислонилась к стене в крошечной тьме.

Здесь пахло книгами – старым пергаментом, кожей переплетов, пылью. Я прижалась затылком к камню, пытаясь отдышаться, и на мгновение мне показалось, что я спаслась.

Но тут же услышала, как снаружи скребутся десятки пальцев, царапая дерево. Звук был тихим, но настойчивым – ногти по дубу, медленно, методично, без остановки. Царап-царап-царап. И сквозь этот скрежет я различила тихий, настойчивый шепот матери, такой знакомый: «Ариадна... открой... мы же родные... не прячься... мы только поговорить... мы же семья... открой...»

Я проснулась.

Резко села на кровати, сбросив с себя спутанное одеяло, которое обвилось вокруг ног, как те самые руки из сна. В горле стоял ком, такой плотный, что я не могла сглотнуть. Тело было покрыто липким, холодным потом, от которого ночная рубашка прилипла к спине и груди, и каждый вздох отдавался ознобом – воздух комнаты казался ледяным по сравнению с разгоряченной кожей.

В комнате царила абсолютная, густая тишина, нарушаемая только бешеным стуком моего сердца, который все еще звучал в ушах, медленно затихая, как барабан, уходящий вдаль. Я прислушалась. Ни шагов в коридоре, ни голосов, ни скрежета. Только привычный скрип древних балок под крышей – они всегда потрескивали на рассвете, когда воздух начинал прогреваться, – да далекий крик птицы за окном, пронзительный и одинокий.

Луна светила в окно, заливая комнату бледным, молочным светом. Тени от ставней ложились на пол длинными полосами, и мне на мгновение показалось, что это те самые пальцы тянутся ко мне. Я моргнула, и тени стали просто тенями.

Я медленно выдохнула, опустила ноги на прохладный каменный пол. Камень был холодным, даже ледяным, и этот холод отрезвил, вернул в реальность. Я провела ладонями по лицу, сметая несуществующие следы преследования, провела пальцами по мокрым волосам у висков, откидывая их на-

зад. Пот на лбу был соленым, и я облизала губы, чувствуя привкус страха.

Это был всего лишь сон. Отголосок вчерашнего дня, стресса, накопившейся усталости, тяжелой еды, которую я почти не ела, но запах которой пропитал одежду и волосы. Просто сон. Мозг перерабатывал впечатления, вот и все.

Но осадок – тяжелый, неприятный ком в груди – остался. Он давил где-то под ребрами, мешая дышать ровно. Я встала и подошла к окну. Ноги ступали по холодному камню, и каждый шаг отдавался в позвоночнике дрожью. Я распахнула ставни – дерево скрипнуло, и в комнату ворвался пред-рассветный воздух.

Чистый, холодный, пахнувший росой, мокрой травой и хвоей из дальнего леса. Я вдохнула глубоко, и легкие наполнились свежестью, вытесняя остатки сна. Во дворе, в глубокой тени, которую отбрасывали стены, стояли чужие кареты и повозки – неуклюжие силуэты, накрытые брезентом, с оглоблями, задранными вверх, как руки. Они были немymi свидетелями кошмара, ставшего на одну ночь слишком реальным. Я смотрела на них и видела не повозки, а тех, кто в них приехал, – спящих сейчас в моих комнатах, в моих постелях, под моей крышей.

До завтрака оставалось несколько часов. Я знала распорядок: слуги начнут суетиться на кухне часа через два, потом накроют столы в малой столовой – не в парадном зале, а в той, что уютнее, для семейных завтраков. Подадут хлеб, мас-

ло, сыр, вчерашнее мясо, разогретое, яйца, молоко. И гости будут спускаться по одному, сонные, помятые, в мятых платьях и камзолах, и снова начнутся разговоры, и благодарности, и просьбы, и намеки. И мне снова нужно будет улыбаться, кивать, обещать, провожать.

Но сон уже отступил, оставив лишь ясное, четкое понимание: сегодняшней день нужно просто пережить. Как и любой другой рабочий день с трудными клиентами, с капризными посетителями, с теми, кто вечно недоволен и требует скидок. Я справлялась с этим в кофейне, справлюсь и здесь.

Я закрыла ставни, отсекая предрассветное небо, и вернулась в кровать. Спать я уже не буду – сон ушел, и его место заняла холодная, деловая собранность. Но можно полежать, закрыв глаза, дать телу отдохнуть, а мыслям – разложить по полочкам все, что предстоит сделать. Завтрак. Прощание. Раздача подарков. И тишина. Главное – помнить, что это всего лишь работа. А работу я делать умею.

Завтрак прошел в той же тягучей, деловой атмосфере, что и ужин, только без ложной праздничности. Стол в малой столовой был накрыт просто и практично: длинные деревянные доски, застеленные льняными скатертями, которые после завтрака можно было быстро свернуть и отдать в стирку. Вместо вчерашних серебряных канделябров – простые оловянные подсвечники с оплывшими свечами, которые догорали серым утром. Вместо изобилия дичи и заморских яств – тяжелые глиняные миски с овсяной кашей, приправлен-

ной медом из моих пасек, и большие блюда с хлебом – вчерашним, но еще мягким, разрезанным толстыми ломтями. Ветчина лежала на деревянной доске, нарезанная неровными кусками, сыр – желтый, с дырочками, домашнего посола. Кувшины с молоком и водой стояли через каждые три места, и гости наливали сами, не дожидаясь слуг.

Запах в столовой стоял простой, будничный: пар от каши, кисловатый дух сыра, чуть сладковатый – от меда, и тяжелый запах разогретого вчерашнего мяса, которое подали отдельно, на случай если кто захочет. Гости ели быстро, почти не разговаривая, торопясь упаковать вещи и уехать, пока погода держалась и дороги не развезло от утренней росы. Слышался только стук ложек о миски, прихлебывание, чье-то сопение и шарканье ног под столом. Но это не мешало им в последний раз озвучить свои нужды – деловая часть визита начиналась именно сейчас, за завтраком, когда формальности были позади и можно было говорить прямо.

Тетя Марго сидела напротив меня, через три человека, но ее голос пробивался сквозь утренний гомон с той же легкостью, с какой пробивался вчера через пиршественный шум. Она намазывала масло на хлеб – щедро, толстым слоем, будто стараясь взять свое за вчерашний вечер, – и даже не смотрела в мою сторону, уставившись в тарелку. Ее локти, острые, как вчера во сне, широко расставлены, занимали полстола.

– К зиме нужна будет шерсть на теплые платья для дево-

чек. – Голос ее звучал буднично, как если бы она просила передать соль. – Наша овца окотилась плохо, приплод слабый, две овцы вообще передохли. Так что со своей шерстью нам не справиться.

Я отпила из глиняной кружки воду – простую, ключевую, холодную, которая одна только и могла прочистить голову после этой бесконечной говорильни. Кружка была теплой от моих ладоней, и вода казалась особенно живительной.

– Пришлю со следующим обозом, тетушка. – Мой голос был ровным, деловым. – Счет приложу.

Я добавила это четко, разделяя слова, зная, что иначе, без счета, это превратится в бесконечную «помощь», в ежегодные требования, в упреки, что я могла бы и побольше, и получше. Тетя Марго чуть дернула щекой – услышала, поняла, но промолчала. Шерсть ей была нужна больше, чем принципы.

Дядюшка Бертран сидел в дальнем конце стола, но его кряхтенье было слышно всем. Он доедал кашу, громко чавкая, и вытирал рот рукавом камзола – того самого, что пах нафталином. Когда я встала, чтобы налить себе еще воды, он поднял голову и уставился на меня своими водянистыми глазами.

– Лесничий твой слишком ретив. – Голос его звучал обиженно, по-стариковски. – Моего человека за браконьерство оштрафовал. Семейного человека! У него дети малые, жена болеет, а твой вымогатель требует деньги за какую-то

несчастную косулю. Разве ж это по-родственному?

Я поставила кружку и посмотрела на него сверху вниз – я стояла, он сидел, и это добавляло моим словам веса.

– Правила для всех одинаковы, дядя. Лес – мой, и порядки в нем установлены давно. Браконьерство – это не охота для пропитания, это кража того, что кормит всю округу. – Я помолчала, давая словам осесть. – Обсудите с лесничим ваш конфликт лично. Он человек справедливый, если к нему с уважением. Я не вмешиваюсь в суд лесника.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.